

7 октября на 89-м году жизни скончался академик **Вячеслав Всеволодович Иванов** — выдающийся ученый, лингвист, антрополог, культуролог, замечательный человек, обладавший уникальными энциклопедическими знаниями и владевший невероятно большим числом языков.

Огромная невосполнимая потеря для науки и общества!

В.В. Иванов имел контакты с основателями и сотрудниками ИПФ РАН, в годы перестройки (1989 год) общее собрание научных сотрудников института поддержало выдвижение В.В. Иванова кандидатом для избрания на Съезд народных депутатов СССР. Он был избран по списку, в который также вошли академики А.Д. Сахаров, А.В. Гапонов-Грехов, В.Л. Гинзбург.

Во втором издании книги «Михаил Львович Левин. Жизнь. Воспоминания. Творчество» (ИПФ РАН, 1998 год, составители Н.М. Леонтович и М.А. Миллер) помещены воспоминания Вячеслава Всеволодовича Иванова о М.Л. Левине. Это эссе, дающее яркое представление и о самом авторе воспоминаний, более нигде не было опубликовано, книга о Левине стала библиографической редкостью, поэтому предлагаем ипфановцам (и не только) познакомиться с воспоминаниями В.В. Иванова о знаменитом московском физике, ярком, талантливом человеке, учителе и друге М.А. Миллера, А.В. Гапонова-Грехова, А.Г. Литвака и др.

## **Вячеслав В. Иванов**

### **ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. Л. ЛЕВИНЕ**

Миша Левин был одним из тех людей поколением (или половиной поколения — как считать?) старше меня, с кем я дружил долго и кто наложил отпечаток на мое отношение к жизни. Мне в отрочестве и в юности хотелось ему подражать. Брат, сам с ним друживший, с неудовольствием ловил меня на том, что я произвольно воспроизводил его манеру говорить, например, чуть приближать "и" в "Мишка" к "ф" так, что получалось похоже на "Мифка". Те Мишины сильные стороны, которые мне казались тогда особенно привлекательными, — его чувство юмора, умение каламбурить, знание математики и физики, начитанность и многообразие сведений относительно литературы и истории, — все это было настолько выше всего того, что я мог попытаться сделать в этих направлениях, что ощущение его превосходства долгое время было непреходящим. В особенности нтриговало и звало к попытке подражания его отношение к жизни — соединение легкости, почти легкомыслия, с серьезностью занятий и основательностью образования.

Я запомнил его еще до знакомства. Я увидел его в Ташкенте зимой 1941-42 года на улице рядом с Женей Пастернаком, мне знакомым еще по довоенному времени, а в эвакуации ставшим вместе со своей мамой Евгенией Владимировной (первой женой Бориса Леонидовича Пастернака) и нашим соседом по помещению бывшего Сельхозбанка Узбекистана на улице Урицкого, куда поселили несколько писательских семей. Рядом с Женей шел молодой человек, мне показавшийся очень уверенным в себе: голова была гордо запрокинута вверх, мне запомнились очки в золотой оправе и усмешка, полупрезрительная. Молодой человек оживленно разговаривал с Женей. Для меня они были как бы из другого мира: уже студенты, а мне еще не было 13 лет. Вскоре Женя привел его к нам. Миша Левин к нам зачастил. Вечером, когда отец (Всеволод Иванов) кончал работу и ежедневное чтение (мы привезли с собой тюк его любимых книг), вся семья выходила во двор Сельхозбанка, где росли садовые деревья и было прохладнее. Выносили во двор стулья, рассаживались, вечеряли, Миша стал непременным участником этих почти ежедневных посиделок, оживлявшихся его остроумием. Но я с ним встречался и отдельно, и чаще многих других членов семьи. Миша жил с родителями и дедом неподалеку от нас в доме, где поселили эвакуированных академиков (его мать Ревекка Сауловна была членом-корреспондентом Академии наук). Там же находилась академическая столовая (много лет спустя, попав в Ташкент после землетрясения, я тщетно искал помещение Сельхозбанка, наш дом буквально сквозь землю провалился, а академическое общежитие сохраняло свою былую устойчивость, хотя по сравнению с детским восприятием сильно уменьшилось в размерах, может быть, сказались и отсутствие академиков, на которых я таранил глаза). Моей домашней обязанностью было три раза в день ходить туда с судками за едой для всей семьи. Миша не раз развлекал меня разговорами во время этих моих стояний в очередях, иногда раздражающе долгих (казалось, на них уходит вес день). А потом и стал приглашать заходить к нему. Он жил в большой комнате вместе с другими членами семьи. Но во время часто случавшихся приступов какого-то подобия лихорадки с очень высокой температурой он переселялся в другую комнату, где я его навещал. Он просил приносить ему

книги. Его манили книги из заветного отцовского тюка. Я принес ему томик из дореволюционного собрания сочинений Стивенсона. Отец немедленно хватился недостающего тома. Пришлось отнять его у больного Миши. Тот не уgomонился в этой жажде чтения полудоступных книг. Позднее ему дал томик из того же довоенного издания Стивенсона мой брат Миша (они были ближе друг к другу по возрасту). Этот томик пропал навсегда, когда Мишу Левина арестовали.

Мишин интерес к отцовским книгам был, мне кажется, выражением части его общей увлеченности нашей семьей и моим отцом. Миша был книжником, он рылся в книгах друзей, как собаки обнюхивают знакомых. Каждая собственная книга у Миши была окрашена биографически. Он мне рассказывал, как в юности "Похвалу глупости" Эразма Роттердамского прочитал, дожидаясь очереди в парикмахерской.

Миша дружил с нашей семьей как целым — отдельно с моей сестрой, в которую влюбился, с братом, отцом, который вел с ним очень откровенные разговоры о политике, с мамой, дружбу с которой сохранил до конца. Часть Мишиного увлечения семьей уже тогда доставалась и мне. Этим я объясняю то, что при тогда очень заметной разнице в возрасте (мне — немного больше 12, Мише — близко к 20) он разговаривал со мной подолгу. После благотворительного вечера-концерта в пользу беспризорных детей, устроенного при участии моей мамы, Миша выслушал мой подробный отчет, прохаживаясь по коридору и по двору академического общежития. Детальность моего рассказа его забавляла. В комнате, где он валялся в лихорадке, а я его навещал, я присутствовал при тщетных попытках Миши написать фельетон для стенгазеты дома вместе с будущим академиком Ю. Б. Виппером, которому шестью годами позже я должен буду сдавать экзамен по Расину и Мольеру. Юный отпрыск академического семейства не очень шел навстречу Мишиному остроумию. Фельетон должен был приветствовать создание душа в общежитии. Миша предложил серию каламбуров вроде "произошло одушевление бездушных". Виппер принужденно улыбался, но с упрямым занудством, уже пророчившим успех его гуманитарной карьеры, отказывался от излишеств Мишиного остроумия. При мне сочинение их общего текста далеко не продвинулось.

На столе у Миши лежал толстый том Соболева, тогда знаменитого своей комсомольской молодостью математика (я познакомился с ним много позднее, когда уговорил его поощрить занятия автоматической дешифровкой рукописей майя в Новосибирске, что обернулось бессовестной халтурой не только его подчиненных, но и его собственной). А другой молодой математик — Мейман, самый юный доктор наук (оттого кличка Док, которую я часто слышал от Миши) приходил тогда же навещать Мишу.

Миша кое-что рассказывал о своих предвоенных занятиях. Как он проходил практику в Институте Капицы, распевая *It's a long way to...* Поскольку П. Л. Капица (как в Мишиных разговорах многие титулованные, но и заодно и менее известные ученые) непременно величался по имени-отчеству, в моем отроческом воображении Миша стажировался прямо у самого Петра Леонидовича. Едва ли это было Мишиным преувеличением (хотя мне потом иногда казалось, что он не прочь был блеснуть перед мальчуганом своими ранними успехами в науке), скорее, моим не вполне верным восприятием его рассказа.

В чем я больше уверен, это в правильности тогдашнего моего интуитивного ощущения заинтересованности Миши в женщинах и их в нем. Мы вместе с ним проходим по коридору академического общежития и с ним заговаривает очень молодая дама, которая собралась вместе с мужем перебраться из Ташкента в другой город. Они уезжают через день или два. "Так вы еще зайдете проститься?" — спрашивает он с непривычным для меня грустно-участливым лицом. Это выражение лица и ее реакция убеждают меня в том, что между ними что-то было. Другой раз Миша со смехом рассказывает мне, что перепутал при отправке два письма, которые он написал своим старым друзьям — мужу и жене. "Ну и что такое?" — недоумеваю я не столько по невинности, сколько по несообразительности. Он начинает объяснять: ну как же, муж получит письмо, предназначавшееся жене.

Но какие бы намеки на Мишину ветреность ни доходили до меня, в то время главным предметом его внимания стала моя сестра Таня. Ее и моего брата объединяла с Мишей Левиним их общая погруженность в юмор как в способ отношения к миру (я этому сочувствовал, но должен был обучаться их потокам острот, как учат чужой язык, это меня отделяло от брата и сестры еще в детстве). Два Миши вместе делали открытки. Мой брат — начинающий художник — рисовал некоторое подобие тогдашних окон ТАСС, а Миша Левин писал стихи в духе газетных политических сочинений Маршака и других. Он посылал эти открытки нам по почте, и они приходили со штампом, утверждавшим, что они проверены военной цензурой. Изображения и особенно стихи были пародийны, забавы двух шалунов были тогда небезопасны. Все собрание открыток долго хранилось у меня, потом я передал их брату. Приведу на память пример стихов Миши:

Хилый их эрзац-солдат  
Весь изранен и дегенерат.

Наш боец — широкоплечий,  
Не имеет тех увечий.

Я посилено помогал их деятельности, вылавливая из газет, которые читал старательно, фразы, поддающиеся пародированию. Найдя достаточно идиотское место в какой-то речи Молотова, где он говорил о стремлении Дон Кихота к власти, я показал его Мише Левину, тут же разразившемуся стихами:

Стремился к власти Дон Кихот,  
Да вышло все наоборот.  
Его приспешник Санчо Панса  
Уж не поет теперь романсы.

Миша уже владел системой пародирования советского официального языка, что он продемонстрировал во всей этой массе открыток.

Моя сестра Таня не только участвовала в ежевечерних сеансах остроумия, Миша позднее с помощью своей мамы помог ей устроиться в аспирантуру Института мирового хозяйства и мировой политики, где Ревекка Сауловна была заместителем директора. А тогда он ее водил на интересные гуманитарные лекции в Ташкентский университет, где сам Миша слушал математику у Петровского. Меня они брали с собой. Так я попал на лекции двух старших Випперов — Роберта Юрьевича, академика-историка (чью книгу об Иване Грозном я вскоре законспектировал), деда упомянутого выше Юрия Борисовича Виппера, и его отца, Бориса Робертовича, искусствоведа (я его позже видел в Москве, он давал мне разрешение читать книги по Древнему Востоку в руководимом им Музее изящных искусств). Оба они жили в том же общежитии. По дороге на лекции по римской истории (я слушал о позднем Риме и латифундиях в нем) Миша (кажется, со слов своей мамы) рассказывал о несносном характере старика, всегда перечившего общепринятым мнениям. Роберт Юрьевич склонялся к марксизму в работах начала века, но после революции стал против марксизма и уехал в Латвию (его потом вернули вместе со всей страной). После лекции обсуждалась техника ее чтения: он писал весь текст на очень маленьких записках, исписывал их мелким бисерным почерком.

Лекции Бориса Робертовича были посвящены итальянскому Возрождению. Миша долго продолжал трунить над обилием архитектурных терминов вроде "антаблемента", которыми сыпал сверхинтеллигентный лектор. Эти иностранные слова несколько дней фигурировали в Мишиных пародиях.

Кроме университетских лекций, Миша, вместе с моей сестрой, посещал и доклады литературного характера. Оживленно обсуждалось выступление о Чосере переводчика Кашкина.

Зная мой напряженный интерес к текущей политике, Миша давал мне читать у себя дома что-то вроде "Белого ТАССа" — полузакрытые перечни последних новостей, которые получала его мама. Иногда он пересказывал мне оттуда то, что казалось особенно интересным. До сих пор помню день, когда главной новостью была поездка Неру (тогда вождя оппозиционного движения в Индии и врага англичан).

Летом 1942 года мама получила через Наркомпрос, где она занималась помощью бездомным детям, путевки в санаторий в Чимгане для меня и себя. Отец с моим братом Мишей к нам присоединились в качестве горных туристов. Они пригласили с собой в поход в чимганские горы Мишу Левина. Тогда Миша особенно сблизился с моим отцом, который среди прочего в горах возле ледника — в наибольшем удалении от шумной толпы и всеслышащих ушей — объяснял ему и восточный деспотический нрав Сталина (я узнал об их разговоре уже после смерти Сталина). Когда вскоре после этого, осенью 1942 года, и отец, и Миша вернулись в Москву, они продолжали там видаться уже без нас (мы всем младшим составом оставались в Ташкенте, а когда мы с братом заболели тифом, мама вернулась к нам, и отец на время остался один). В дневнике отца я нашел запись о том, как он вдвоем с Мишей Левиным придумывает возможные забавные сюжетные продолжения начатого еще в Ташкенте сатирического романа "Сокровища Александра Македонского"; осталась и Мишина записка отцу о каком-то романе, который он прочитал в папино отсутствие ("Роман — дрянь", — в своем категорическом стиле вынес приговор Миша). Когда мы вернулись в Москву в 1943 году, я после двухлетнего перерыва начал всерьез заниматься в школе. Осенью по физике проходили закон Ньютона и надо было писать сочинение (это было время ньютоновского юбилея, тогда широко отмеченного в Москве). Миша вызвался мне помочь. Я пришел к нему домой на Большую Калужскую в академический дом. Тогда или позже на его столе лежал толстый учебник или монография Тамма (по электродинамике, если не вру). Квартира показалась просторной. Из его острот в тот вечер мне запомнилось, как он мне предложил поудобнее устроиться у его стола "поверх барьеров" Эта манера говорить переиначенными к месту цитатами из нескольких только нам тогда известных поэтов потом широко распространилась. Я впервые услышал такое от Миши. Мы набросали план и конспект с цитатой из английских стихов о Ньюtone (потом их все стали приводить). Миша не был поклонником тогдашне-

го выпрненного стиля моих школьных сочинений: как-то у меня дома ему попался на глаза мой трактат о былинах с риторическими фразами о фронте, шедшем по степи. Он меня высмеял. С собой Миша мне дал большущий, только что вышедший том с очень интересными статьями о Ньюtone. Я вернулся к Ньюtone, опять с помощью Мишиных книг, спустя примерно сорок лет, когда стал заниматься его сравнительно мало известными лингвистическими, филологическими и историческими изысканиями. В Мишиной домашней библиотеке оказались и только что вышедшие английские книги о Ньюtone как историке. Миша пришел на мой доклад на эту тему и стал его со мной обсуждать. Историю науки он знал хорошо. Если не ошибаюсь, по поводу Максвелла он говорил, что всегда предпочитал читать самих классиков — в первоисточнике

В середине войны Миша навещался к нам домой довольно часто. Как-то раз он привел с собой одного из друзей — из той молодежной компании, которую вскоре всю посадили. Миша всегда был полон новостей. То рассказывал нам со слов матери о новых сталинских указаниях — не годится "профессорский социализм" (немецкое слово *Kathedr* в этом неизвестном контексте меня тогда озадачило), то повествовал об академических дрязгах. Рассказывая о том, как Колмогоров дал пощечину Лузину после объявления результатов выборов, он осуждал Колмогорова: тот — спортсмен, физически сильный человек, а Лузин — старик и его бывший учитель. Как-то у нас Мишу видел Зошенко, которому мы все поклонялись. Зошенко с его несколько старомодной благовоспитанностью нашел Мишу излишне заносчивым, как он мне говорил много спустя; я вспомнил свое первое ташкентское впечатление.

Однажды сидя рядом со мной у нас дома на Лаврушинском Миша прочитал мне стихотворение "декабристы", по тем временам чрезвычайно крамольное. Он знал его уже наизусть. На вопрос, кто его автор, он ответил: "Этого я тебе сказать не могу". Я думаю, что он тогда не знал, что автор — будущий Коржавин (тогда для нас — Эмка Мандель, я его встречал в кружке поэтов при "Молодой гвардии"). Ответ же его можно было понять и так, что он знает, кто написал, но не может сказать. В этом случае он просто пыжился знать больше, чем мог. Но, может быть, и здесь я его неправильно понял.

Мишин арест летом 1944 года я воспринял болезненно. Больше чем через полгода я написал в постблоковско-ахматовском сентиментальном, романтическом ключе посвященные ему стихи, кончавшиеся строками:

Я сегодня вспомнил о друге,  
О потерянном друге моем.

Мише я этих стихов не читал, они отличались от насмешливо-шутливого тона разговора, к тому времени у нас установившегося.

Когда много лет спустя я стал заниматься семиотикой под началом А. И. Берга в Совете по кибернетике, Миша вспоминал о том, как перед арестом во время войны работал в НИИ, где Берг налаживал радиолокацию. Он рассказывал мне о случайной цепи обстоятельств, которые помешали ему в тот день узнать о предстоящем аресте и попробовать от него уклониться и спрятаться (мне это и сейчас кажется по тем временам мало реальным).

Из того, что Миша мне потом рассказывал о своем тюремном опыте, я запомнил, что в тюремной бутырской библиотеке он взял "Клима Самгина" и нашел там фразу, которую процитировал следователю: ее смысл — если в государстве есть политическая полиция, то должны быть и политические преступники.

Миша говорил, что порядок допроса был у всех стандартный. В начале списка был вопрос, не рассказывал ли обвиняемый антисоветских анекдотов, в частности, о колхозах. Этот стандартный вопрос, по его словам, задали и заведомому шпиону, схваченному на турецкой границе с оружием и другими вещественными доказательствами. Тот был поражен бессмысленностью ведения следствия. Мишина смелость и находчивость во время следствия, когда он один напомнил следователю, что из окон, выходящих во двор, по Арбату не выстрелишь, нас всех восхищала и много раз обсуждалась.

Тогда говорили, что Мишина мама Ревекка Сауловна уговорила директора института академика Варгу, чьим заместителем она была, написать письмо Сталину по поводу Миши; Варгу, кажется, упрашивала об этом и его дочка, Мишина подруга детства. Написал ли он и помогло ли это тогда, как мы думали, я не знаю. Но я как во сне помню конец дня, когда узнал, что Миша в Москве и уезжает. Вечер, несколько друзей, братья Ягломы, Кот, вскоре погибший в горах. Темно, мы на улице, провожаем, едва разговариваем. Чувство подавленности. Он на воле, но не может быть с нами.

Кажется, к тому времени, когда, выйдя из заключения, Миша начал наезжать в Москву из горьковской ссылки, относится разговор с ним о соотношении физики и математики. Началу разговора способствовал зашедший ко мне знакомый (сын инженера-генерала, приятеля Сельвинских), зани-

мавшийся математикой. Миша разъярился. Он стал нападать на математиков, которые не заботятся о физическом смысле своих построений. Физики знают, для чего им нужны уравнения, а математики заняты своей техникой независимо от ее приложений. Я знал раньше от Миши, что он много занимался математикой, притом весьма абстрактной (вспоминается рассказ о его бессоннице и читанной ночью книге по топологии, где в шутку обыгрывались очертания физиономии автора). Но речь шла о направлении занятий, об их смысле. Мой знакомый был изумлен Мишиной горячностью. Я помню, что в тот раз Миша рассказывал мне как он перечитывает письма Пушкина.

Из других разговоров общего характера, касавшихся физики, помню, как Миша, тоже с жаром и сочувствием, мне пересказывал статью Франка (потом развитую и в книге по философии физики, у нас переведенной). В ней доказывалось, что философы всегда с опозданием берут из физики идею, которая у них застывает в мертвой схеме. Мишино поколение наших физиков чуралось философии или боролось с официальной псевдофилософией.

С большим увлечением Миша пересказывал мне только что вышедшую (тогда еще не переведенную) книгу Шредингера "Что такое жизнь?". У него была отличная память и четкая мысль педагога. Когда года через два я прочитал русский перевод книги, он добавил только подробности к тому, что я уже усвоил с Мишиных слов.

Я пописывал стихи в довольно большом количестве. Миша к ним относился сочувственно, хотя иногда и потешался над строками, казавшимися ему забавными (а они и в самом деле выглядели почти пародийными против моего желания). Одно из моих сочинений, посвященное Ван Гогу, кончалось двустушием, звучащим, по моему представлению, драматически:

И пил абсент Ван Гог Винсент.

Миша тут же продолжил:

А Франсуа Вильон ел бульон.

Сразу по окончании школы я болел — вернулись старые хвори, опять, как в детстве, уложили надолго. Миша относился ко мне бережно. Сурово осек зашедшего меня проведать общего приятеля Ж. Федорова: "Жора, не кури при Комке!" Развлекая меня, вспоминал классические стихи, упоминающие мифологических персонажей, чьи имена созвучны с моим детским прозвищем: "И бог пиров — веселый Ком!"

По окончании войны Миша женился на моей сестре Тане. Перед тем, как они вместе уехали в Горький, где прожили недолго и, по-видимому, не вполне счастливо, было несколько предсвадебных и свадебных встреч и пирушек у нас дома и у Мишиных родителей с последующим шатанием по городу. Я помню, что пришел домой к Ревекке Сауловне довольно рано. Там уже был Михаил Александрович Леонтович; кажется, вместе с Мишиной мамой они пришли с какого-то академического заседания. Пока все гости не собрались, Михаил Александрович обсуждал с Мишей его маленькую заметку, скорее всего предназначенную для "Докладов". Миша пояснял то, что оставалось не совсем ясным из его до крайности сжатого текста (он его мне показал). А Михаил Александрович по этому поводу говорил, что хочет заинтересовать Мишу проблемами, лежащими за пределами той достаточно ограниченной области, которую тот выбрал для своих занятий: "Чтобы вы не занимались только этим". Меня просили читать стихи. Ревекке Сауловне они нравились. Какие-то строки (о милиционере, которого не надо бояться и задабривать) она запомнила. Миша мне говорил с ее слов, что она их вместе с другими стихами читала себе, когда оказалась после приговора в одиночном заключении. После сидения за столом у старших Левиных вышли в ночную Москву. Провожали гостей. Ждали автобуса. Кто-то сказал: "Остановка перенесена" — с ударением на третьем слоге от конца, меня это резануло: то ли я слишком москвич, то ли московский сноб, во всяком случае в том, что касается языка и чистоты выговора.

На свадебной пирушке у нас дома на Лаврушинском я, к огорчению Сельвинского (отца первой жены моего брата), прочитал в честь Тани и Миши нахальные стихи в ложноклассическом духе, где назвал Мишу "доцентом Горьковского университета". Тяжеловесный оборот вместился в ямб, но оказался не только ложноклассическим, но и ложным. Миша неожиданно серьезно сказал мне, что он не доцент в Горьком. Я тогда недооценивал шаткость его положения бывшего заключенного.

О жизни в Горьком мне рассказывал и сам Миша, и Таня. По ее словам, беседы о физике с соседом Гореликом могли длиться часами, наукой Миша тогда был очень увлечен. От Мишиных общений с Гореликом мне достался Вийон по-старофранцузски, к надписи на котором я еще вернусь.

Брак скоро разладился. Он трещал по швам еще летом, когда мы всей семьей жили на даче у Сельвинских в Переделкине. Я тогда много писал стихами и прозой письма Мише в Горький. Когда Таня его бросила, он мрачный приехал в Москву и зашел ко мне. Посидел немного, вызвав раздражение и гнев своей бывшей жены (мы вместе жили на Лаврушинском), сказал мне, что пойдет по Моск-

ве с друзьями. Мой отец, по маминым словам, осуждал Таню, считал, что она не выдержала трудностей нестоличной и не вполне благополучной жизни. Наверное, она его не любила.

Со мной Миша сохранил очень близкие отношения. Мы переписывались. Он ко мне приходил или встречался со мной на улице, чтобы не сердить Таню. Зимой 1950 года я проводил какое-то время в Переделкине на нашей даче, отстроившейся после пожара. Там мы побыли вместе с Мишей и с моим братом, приехавшим, чтобы с ним повидаться. У нас гостил Ираклий Андроников, потом всячески мне Мишу расхваливавший.

Оказавшись на вольном воздухе, я попробовал заговорить с Мишей о политике, тогда меня очень занимавшей. Он неохотно откликнулся. Сказал только, что "как подумаешь о народе", становится жаль. Я удивился. Почему о народе? А мы сами что? Ревекка Сауловна была в тюрьме. Миша внутренне не сдавался. Мы шутили, как бывало до того, особенно вместе с братом.

В следующие встречи Миша рассказывал о жизни в Тюмени, куда пришлось перебраться после изгнания из Горького. Он толстеет, если не ходит на лыжах. Тяжело болел. Нашлись люди, за ним ухаживавшие. В Тюмени нет научных книг и журналов. На какой-то конференции слушал доклад К. М. Поливанова, отца моего приятеля. Миша язвительно отозвался о его научных потугах и сверхрафинированной манере изложения. Огорчила Мишу статья В. Л. Гинзбурга, обвинившего его в принятии "тепловой смерти Вселенной". Я знал, что причина их дурных отношений личная. Тем обиднее было слышать о наветах тогда небезопасных. Миша старался сохранить объективность, и, когда Гинзбурга выбирали в Академию, хвалил его в разговоре с Леонтовичем. На оттисках (не только мне, как я потом узнал) он написал: "*Not too many, but* из Тюмени". В начале марта 1953 года Миша мне прислал по почте свой стихотворный шедевр. В нем в начале имелись в виду мои тогдашние научные занятия, но за ними следовало несомненное медицинское и политическое предвидение, пусть с неточным диагнозом болезни великого вождя и учителя:

Вавилоняне и хетты  
Не страдали от рахита,  
Но зато у Хирохито  
Завелись спирохеты.

Хирохито "сдох", как тут же сформулировал один из его ближайших приспешников. Миша в Москве, лучезарный. Мы обсуждаем с ним перемены. Он верен себе. По поводу триумвиров — Маленкова, Молотова, Берии — "а кто из них *vir*, наверное, один Берия". Во многих деталях происходившего мы с ним тогда одинаково ошибались, и ему нравились довольно слабые вирши, которые я складывал по поводу наступавших изменений.

При Мишином умении сводить существенное к анекдоту, оказалось, что и с хирохито у него был связан анекдот из раннего детства. Он любил рассказывать, как своим неуместным появлением в зале чуть не помешал знаменитому выступлению Сталина, которое многие годы было увековечено особой доской на доме Института философии на Волхонке.

Для Миши многое стало возможным. Он едет на свидание с друзьями-однодельцами — Фридом и Дунским, привозит от них поэму Смелякова, написанную в лагере. Освобождают Ревекку Сауловну. Он узнает о ее страшном тюремном опыте, следах пыток на теле, медицинских последствиях сидения в одиночке. Долгие дежурства у больной матери едва ли не из самых тяжелых испытаний его жизни. Я был на ее похоронах. Товарищи по партии говорили об их вере в общее дело с прежним энтузиазмом.

От Э. В. Шпольского, отца моей первой жены, я узнал о готовившейся (с таким опозданием!) защите Мишиной докторской диссертации. Постепенно к нему вернулась Москва, появилась работа по специальности в институте у Минца. Жизнь стала устраиваться. Мы еще долго встречались, как бы по привычке, почти на бегу, словно мимоходом, на улице, но гораздо чаще. Я впопыхах, как всегда, что-то дописываю и допечатываю, машинистка задерживает. Миша ждет около университета, где я тогда работал, и недоволен моим опозданием. Другой раз он заходит за мной в Институт иностранных языков и уводит меня с заседания кафедры, в этом случае недоволен заведующий кафедрой, с заседания которой я сбежал. Среди общих друзей появляются два Саши — Пятигорский и Леонтович. Из научных сенсаций нового времени — защита диссертации Кнорозова, дешифровавшего письменность майя. Миша мне говорит, что, по мнению М. А. Леонтовича, Кнорозов — достойный кандидат в Академию; к сожалению, до сих пор никто не позаботился об осуществлении этой идеи.

Из Мишиных давних знакомых, с которыми тем временем и я знакомлюсь, — Литвиновы. Я люблю особенно Мишины рассказы об Айви Вальтеровне. Ей кажется, что весь мир говорит по-английски. Мишу она вдохновила на чтение романистов начала прошлого века, у нас мало известных.

Москва в начале оттепели забурлила семинарами. У нас на факультете был семинар по применению математических методов в лингвистике. Миша внимательно слушал мой доклад о нейтрализации в грамматике и лексике и сделало уже после официального конца заседания очень дельное предложение не только терминологического характера: явление это можно было бы считать и называть рождением. К сожалению, дальнейшему Мишиному участию в семинаре мешало расписание: семинар совпадал со знаменитым гельфандовским. Миша с улыбкой осведомился об отношениях Гельфанда и Володи Успенского, вместе с которым и с Кузнецовым я вел наш семинар: "А Успенский что — не допущен?" Я давно знал, что Миша серьезно относится к занятиям семинаров. Он с похвалой отзывался об одном математике, который никогда не выступал сам на семинаре, но каждый раз задавал очень дельные вопросы.

Весь академический круг, совсем не только близкие знакомые из числа ученых, оставался для Миши своим, ему присущим с детства. Когда я рассказал ему, что у Пастернака на даче познакомился с Шафаревичем, который говорит, что верил в возможности ученых править страной только до тех пор, пока не узнал их ближе, Миша сказал с огорчением, как о проступке члена семьи: "Игорь Ростиславович всегда скажет что-нибудь". Боюсь, что потом куда более странные проступки увели капризного математика из своего круга.

Когда над Пастернаком разразилась гроза после присуждения Нобелевской премии, вихрем задело и меня. Учредили комиссию, занимавшуюся расследованием моей деятельности в университете. Мишина старая знакомая, входящая в партком университета, там слышала, что на филологическом факультете есть такой еврей с кучерявыми волосами (я только начал лысеть), сын Бабеля (путаница братьев, как в водевиле или у Марка Твена), выдает себя за русского, будто Иванов. Мне казалось, что со мной может случиться что угодно. В неминуемости моего ареста были уверены и Слуцкий, перепугавшийся, звонивший мне измененным голос и меня предостерегавший, и Звегинцев, заведовавший моей кафедрой. В то время мы часто встречались с Мишей. Он взял у меня на хранение те части моего архива, за которые я опасался больше, чем за свою свободу.

Хотя французский не принадлежал (в отличие от немецкого и особенно английского) к языкам, для Миши легким, он с удовольствием слушал стихи Вийона, которые ему в подлиннике читал в Горьком Горелик. Я оценил значимость дара, получив от Миши в декабре 1958 года в качестве новогоднего подношения нумерованный экземпляр издания старофранцузских текстов Вийона с иллюстрациями и заставками Дюбу. На нем Миша написал, демонстрируя усвоенное от Горелика старофранцузское (близкое к написанию) произношение, названия "посылки" (*envoi*) в конце баллады:

Принц, хоть шакалов бешен вой,  
Хоть Вам грозит петля и ссылка —  
Не отступать! — вот Ваш *envoi*.  
И это — лучшая посылка.

И из этих стихов, и из всего поведения Миши следовало, что он (как многие) вполне серьезно относился к возможной опасности, которой мне грозило дело Пастернака.

Миша ездил с М. А. Леонтовичем на дачу к Б. Л. Пастернаку в разгар гонений на него. Перепуг некоторых из его близких Мишу огорчал, но он мне говорил об этом в тоне понимания их психологии.

Так же, как Миша бережно сохранил все мои бумаги, возвращенные мне Наташей уже после его смерти, он спас и огромный архив Белинкова. Я как-то пришел к Аркадию незадолго до бегства того из России и увидел Мишу с огромным рюкзаком за спиной: он уносил белинковские бумаги. Потом из окна сверху мы видели, что Миша, при всей его физической закалке, не без усилия нес этот груз по улице. Мы с Аркадием любили писать, поэтому носить Мише приходилось много, и найти для всего место было нелегко. Уже после смерти Аркадия Миша мне говорил, что пытался навести порядок в этих бумагах и был удивлен: среди них оказалось много поздравительных открыток по случаю праздников, ничего не значащих и пустых. Видимо, Аркадий спешил и не успел просмотреть свои бумажные россыпи. Из того, что Миша делал смелого, хранение белинковского архива было одной из самых опасных затей. Через несколько лет после отъезда Белинкова ко мне пришел Дзизик Самойлов и стал рассказывать о самоубийстве своего друга Леона Тоома. В обстоятельствах смерти было много загадочного. Может быть, на крыше, где Тоом оказался, его и убили. А КГБ мог хотеть его устранить, потому что он участвовал в прятании архива Аркадия Белинкова. Сидя напротив сильно выпившего Самойлова, я ощущал драматическую подневольность нашей жизни. Я не мог сказать Дзизику, с которым дружил, кто на самом деле спрятал архив Белинкова. Но Дзизик был безусловно прав в том, что КГБ был заинтересован в выяснении этого.

Я бывал у Миши, когда он жил со всеми Леонтовичами в квартире у Курчатковского института. Но чаще я стал бывать у него, когда они с Наташей поселились в отдельной квартире. Миша мне позвонил с новостью: квартира есть и заказана мебель, ее привезут сегодня. Я вызвался помочь ему в ожидании. Сколько помню, эта мебельная операция была долгой.

На новой квартире собирались старые друзья. Миша обладал редким даром дружбы. Что-то должно было случиться особенное, чтобы его давнишняя дружба пресеклась. За столом вечером собирались друзья из нескольких десятилетий. Я устроен иначе, мне такие отношения кажутся музейными, но я тут, конечно, не прав или не должен высказываться на тему, где я не специалист. В конце концов, я сам на этих сборищах был выходцем из довольно экзотического времени-пространства: Ташкента первого года войны, настолько экзотического, что как раз со мной в конце дружба и пресеклась. Причиной внешне было то, что столкнулись две дружбы, оказавшиеся в тот момент несовместимыми: со мной поссорился из-за семейных дел один из самых старых Мишиных друзей, на сторону которого встал Миша. А потом Миша обижался на меня уже и по мелочам. Мы позвонили ему, чтобы поздравить с днем рождения. Светлана его поздравила и позвала меня к телефону. Я сказал почему-то всплывшей в это время обычной маминой телефонной формулой: "Слушаю". Миша рассердился: "Что ты слушаешь? Что ты, академик Велихов, что ли?" Это прозвучало как ругательство. Потом с тем старым другом мы помирились. Узнав от меня об этом, Миша огорчился: что же, только со мной ты остался в ссоре? Ссоры потом не было, но была близость так и не возвратилась.

Но вернусь ко времени до старости, нас обоих портившей и мешавшей жить по-прежнему. На тех встречах на новой квартире иногда людей было мало. Как-то мы провели вечер у Миши с Михаилом Александровичем Леонтовичем. В тот раз речь зашла о президенте Академии наук Келдыше. Леонтовичу тогда казалось важным, что Келдыш был членом ЦК. Я уже не верил в серьезность ни одной из этих организаций. Но Леонтовича я очень любил и видел, как они с Мишей нужны друг другу. О нем Миша всегда говорил восхищенно. Как Михаил Александрович привез из зарубежных поездок целую библиотеку карманных изданий (в бумажных переплетах): Фолкнера и других современных авторов, у нас тогда почти неизвестных. Какой скандал (очередной) Леонтович устроил, когда его не пустили в ФИАН, где он должен был рассказывать о своих (в самом деле замечательных — добавлял Миша) новых работах по ядерной энергии. Но и о былых его скандалах на общественной почве он рассказывал с восторгом. Миша мне как-то занятно описывал, как Михаил Александрович намеками ему говорил о результатах текущих выборов в Академию. Леонтович не мог или не хотел говорить прямо, кто будет избран. Но Миша нашел способ так задавать ему наводящие вопросы, что ответ сразу становился ясным.

С какого-то момента академические выборы мне стали казаться Мишиным наваждением. Он, так хорошо знавший всему цену и все умевший поднимать на смех, к этой процедуре относился всерьез. То ли он помнил Академию с такого незапамятного времени, когда она состояла преимущественно из больших ученых, то ли слишком завораживала игра вроде вопросов Леонтовичу, но к выборам в том числе и своим собственным, он стал относиться нервно. Когда меня в 1972 году (когда я все еще был кандидатом наук с докторской диссертацией, утерянной ВАКом) впервые выдвинули в академики, он отнесся к этому как к важному событию. Через несколько дней в новоарбатском ресторане был банкет по поводу защиты диссертации Левы Юдина. Я зашел туда за Светланой. Миша вышел мне навстречу. Он спрашивал меня о результатах голосования. Число голосов, поданных за меня, разошлось с его ожиданиями.

Из нескольких московских кружков, к которым принадлежали мы оба упомяну те, что сложились возле Н. Я. Мандельштам и И. М. Гельфанда. В них входили и Мишины друзья детства: художник Б. Биргер и Е. Пастернак, названный в самом начале моих записок. Мы виделись и у Копелевых (в особенности в месяцы перед их отъездом за границу) — Миша тогда с ними сблизился.

Благодаря одной из давних подруг — Ире Сергиевской — не только Миша, но иногда и другие, попадавшие на слет старых друзей, могли смотреть в студии совсем новые фильмы. Как-то мы условились вечером встретиться с Мишей. Он позвонил мне к концу того дня с извинениями: встретиться не удастся. "Ромм про нас сделал фильм". Он хотел его посмотреть. Это были "Девять дней одного года" со Смоктуновским. Когда немного позже и я посмотрел эту картину, я задумался над Мишиным оборотом "про нас". Строго говоря, не про него. Он не работал в Дубне, его научная биография была сложнее, труднее и богаче.

Но он (в гораздо большей степени, чем я) был заражен духом товарищества. Он принадлежал сразу нескольким сообществам. Физиков он рассматривал как свою компанию. И многих молодых писателей, с которыми сблизился (мы оба были на многолюдных проводах Войновича в мастерской



у Мессерера, в одном на немецких сборников Окуджавы напечатана фотография, где все наше тогдашнее общество, мы с Мишей там рядом).

Миша читал всю новую литературу. И плохих, и совсем плохих авторов тоже. Он был пародистом-сатириком, для него это была необходимая пища. Я этой писанины не читал и с трудом мог о ней говорить, хотя и разделял Мишино неприятие большей части того, что тогда печаталось. Но я ценил Мишин широкий вкус в поэзии. В Доме писателей устроили вечер незадолго перед тем погибшего Рубцова. Я позвал на него Мишу. Как и я, он вполне чувствовал силу рубцовского дара в лучших его вещах. Кожинские попытки "присвоить" поэта на нас обоих в тот вечер не повлияли.

Из поэтических чтений молодых поэтов, где мы присутствовали вместе с Мишей, самой памятной была внезапно устроенная Наташей Горбаневской встреча с приехавшим в 1968 году из Ленинграда Иосифом Бродским в фундаментальной библиотеке Академии наук на улице Фрунзе. Мы вышли по окончании вместе с Мишей, он довел меня до троллейбуса, не хотелось расставаться. Настоящая поэзия сильно действовала на нас обоих.

Миша продолжал меня знакомить с теми новинками западных авторов, которые к нему попадали раньше, чем ко мне. Я запомнил в подробностях его детальный пересказ научно-фантастического романа английского астрофизика Хойла "Черное облако". Потом, читая английский текст, я поражаюсь точности Мишиной памяти и удачному выбору тех мест, на которые он обратил внимание в своем пересказе (когда, например, мыслящее облако просит исполнить классическое музыкальное произведение в другом темпе). А "На берегу" (роман, по которому поставлен известный фильм о мире после атомной войны) я в основном до сих пор знаю в его пересказе. Он на меня произвел впечатление, а когда Миша достал для меня на короткий срок книжку, она мне показалась скучноватой, а изложение — банальным.

Я жил в родительской квартире в Лаврушинском возле министерства, где Мише приходилось бывать по служебным делам. В такие дни, если я оказывался дома, он заходил ко мне после окончания недолгих дел в министерстве и уживался на целый день. Его отношения со временем меня удивляли. Он не спешил и всегда был готов к долгой беседе. Ничего похожего на мой непрерывный московский цейтнот у него не было. Но не было и желания просто носиться по городу в погоне за литературными, художественными и другими новинками. Об одном из наших общих друзей, именно этому и предававшемуся, Миша отзывался неодобрительно: зачем бегать по выставкам и конкурсам? У него были интересы глубже и важнее.

Когда умер мой отец, Миша очень серьезно отнесся к просьбе моей мамы помочь разрешить ей внезапно возникшие трудности с разделением большой квартиры между ней и семьями ее двух сыновей. И в этом случае, меня самого коснувшегося, и в других подобных (когда Миша принял близко к сердцу имущественные отношения своего старого друга Сахарова с его детьми) Миша старался быть нелицеприятным и справедливым ко всем участникам семейного разбирательства.

О Сахарове Миша рассказывал мне давно. Он был поражен одним разговором с ним еще задолго до того, как Сахаров вошел в нашу общественную жизнь. Андрей Дмитриевич подвозил его на своей служебной машине. Они ехал по загородному шоссе. Сахаров попросил шофера остановиться, вышел вместе с Мишей и долго прохаживался с ним вдвоем по рожице возле дороги. Он делился с Мишей своими потаенными мыслями. В то время Сахаров изучал работы о последствиях радиации. Его очень волновала ответственность за сделанное им изобретение. На Мишу тогда он произвел впечатление почти нервноболезного, так его глубоко задевало то, о чем говорил.

Во время сахаровской ссылки в Горький Миша подробно мне рассказывал, как и с какими трудностями ему удавалось встретиться с Андреем Дмитриевичем. Среди едва ли не главных трудностей было и Мишино нежелание повредить своим ученикам и друзьям, к которым он приезжал в Горький. Он очень переживал, что один раз ему не удалась встреча, о которой они с Сахаровым уже условились — помешал и приступ той Мишиной болезни с повышением температуры, о которой я уже упоминал. Причины тогдашней не встречи он описал в письме Сахарову, которое показал мне, разорвав для этого конверт, куда он его уже положил для отправки адресату. Там упоминался и Велихов, который после случившегося ездил к начальству, желая облегчить положение Сахарова. Когда Сахаров вернулся из Горького, мы со Светланой все сперва не могли встретиться с ним и Люсей Боннэр, а потом случайно оказались вместе в одной гостинице в Таллинне. В тот вечер Сахаров был необычно резок в оценках людей. По существу, он выделял положительно одного Мишу. Я понял, как много значили для Сахарова встречи с ним среди почти полного горьковского безлюдья.

Из разговоров с другими физиками, касавшихся атомной проблематики, мне запомнился Мишин пересказ слов Ландау. По Мишиным словам, Ландау говорил: "Мы все — люди подневольные. Не можем отказаться от того, что они требуют". Но Ландау утверждал, что создавал только видимость

работы "для них". И удивлялся и негодовал по поводу И. Е. Тамма, который не только сам работал всерьез для создания атомной бомбы, но и вовлек в это двух лучших своих учеников — Сахарова и Гинзбурга. Миша был полон рассказов о Ландау. Как молодой Ландау хулиганил вместе с Гамовым: они написали заметку в "*Nature*" по поводу того, в каком направлении жуят коровы, справа налево или слева направо. Как в те же годы Ландау приехал на конгресс, где все были увлечены астрофизикой, и сделал доклад о патоастрофизике. Вместе со всеми нами Миша переживал катастрофу, разрушившую мозг Ландау. По его словам, Ландау все жаловался потом, что у него "болит ножка". И ему казалось, что боли он испытывает из-за возобновившихся пыток: он мысленно вернулся во времена террора, когда его арестовали. Он поверил в то, что мучения не из-за пыток, только после того, как ему вручили Нобелевскую премию в шведском посольстве. Вместе с тем временем вернулась и любовь к жене. А до этого брак уже расстроился. К Ландау домой открыто ходили девицы. Катастрофа вернула его на двадцать лет назад. Друг и однодедец Ландау Румер, после возвращения из лагеря работавший в Новосибирске, ненадолго приехал в Москву читать лекции о своей "пяти-оптике" (оптике пяти измерений). Румер просил общих знакомых познакомить меня с ним: его интересовал хеттский язык, которым я занимался (он был не только полиглотом, но и понимал направление развития языка). Миша потом мне говорил о своей встрече с Румером, обсуждавшим с ним наше филологическое знакомство. По словам Миши, у Румера оказались друзья среди тогда самых видных академикоракетчиков, таких как Королев: они вместе с ним сидели и обрадовались, увидев его на заседании Академии.

Когда арестовали Синявского и Даниэля и готовился суд над ними, Миша был из числа тех, чье осуждение гонителей было деятельным. Ему была близка позиция нашего общего друга М. Л. Цетлина, в одном из тогдашних докладов, совместных с И. М. Гельфандом, говорившего о необходимости широкого юридического образования для всех. Когда Миша Цетлин внезапно умер, Миша Левин, как и я, очень тяжело перенес известие о потере друга. Мы встретились утром. Он сказал мне, что не спал всю ночь. На похоронах в своей речи он упомянул о мыслях покойного "во время несправедного суда".

Мы попали в полосу политических репрессий, судов и наших протестов против них. Павла Литвинова Миша, друживший с его родителями и со всей семьей Литвиновых, знал с детства. Политическая активность Павла привлекла к нему наши симпатии и интерес КГБ. Когда мы с Мишей как-то вечером встречались с Павлом, у входа в квартиру на лестнице залегли двое шпииков, изображавших из себя пьяных. После демонстрации против оккупации Чехословакии Павла судили вместе с Ларой Богораз и другими протестовавшими. Миша позвонил мне, чтобы условиться о встрече в день суда. Мы вместе подошли к зданию суда, около которого потом провели несколько дней, на суд нас не пустили. Павла сослали. Миша попросил меня вернуть залежавшееся у меня Мишино старое английское издание книги Карлейля по истории французской революции: он обещал послать его Павлу, который собирался в ссылку пополнить свои знания по истории.

Наш общий с Мишей друг Ися Яглом привел ко мне Кронида Любарского. Тот собирался начать издавать самиздатовский журнал с литературным отделом и просил моей помощи. Я начал только собирать материалы, как Кронид арестовали. Мы с Мишей подумали, что его может попросить взять на поруки Мишин ученик по Горькому Гапонов-Грехов. Я знал и другого Мишиного ученика Мишу Миллера еще по своей поездке в Горький с лекциями (одну из которых читал на радиофизическом факультете) в начале шестидесятых годов, потом часто видел их обоих у Миши. Андрей Гапонов согласился с нашей затеей, предварительно расспросив меня о Крониде.

На примере Гапонова-Грехова я лишний раз увидел, как заботлив Миша к друзьям. Он тратил массу времени на то, чтобы заказать для него книги, которые тот имел право покупать по академическому списку, но без Мишиной помощи не мог бы это делать, потому что приобрести книги можно было только в Москве.

Мы со Светланой наезжали к Леонтовичам-Левиным на дачу, в частности на Новый год. На людном сборище Миша читал свои специально заготовленные по случаю тексты. Я больше люблю его короткие стихотворные экспромты, как знаменитая эпиграмма на Сельвинского. Но на даче в Абрамцево Мишины тексты были уже почти традиционной составной частью большого действия со множеством участников — и семейных, и друзей, и части тех компаний, душой которых был Миша.

Как-то мы приехали на дачу в Абрамцево в тот момент, когда мне нужно было срочно послать в Тарту тезисы для блоковской конференции. Я привез с собой тетрадку, куда записывал данные о статистике форм хорея в "Шагах командора". Миша заинтересовался: "Покажи, что за безобразие ты из этого делаешь?"

У нас на даче в Переделкине Миша с сыном Бамбиком бывал регулярно в ту зиму, когда мы со Светланой там прожили почти безвыездно. Наш сын Ленька ходил там в школу, а я вел кружок для

детей по дешифровке древних письменностей и по сравнительному языкознанию. Бамбик был участником кружка и проявил на нем большие способности. Миша присутствовал на всех занятиях. Его вклад состоял также в ритуальной поленнице, которую он всякий раз привозил из Москвы для чаепития по окончании занятий. В конце учебного года я устроил зачет, который большинство ребят выдержали с блеском. Миша в нем тоже участвовал шуточными письменными ответами.

Вокруг этого времени Миша бывал на нескольких моих докладах, иногда приводя с собой и сослуживцев, интересовавшихся филологией. Кроме уже упомянутого доклада о Ньютоне, он слушал большое мое сообщение о связи алфавитного письма с клинописью и доклад на семинаре в ВИНТИ о возможных системах интеллекта, отличных от человеческого. Слушателем, как до того на семинарах, он был очень внимательным и вопросы задавал по существу. Миша прослушал и длинное мое сочинение о стихотворении Пастернака "Бабочка-буря". Он помог мне понять смысл строки "В рядах до крыш горящих сумм", рассказав со слов своего отца, что в Берлине биржевые новости сообщали табло, горевшие у верхних этажей. Я вставил это объяснение в свой текст со ссылкой на Мишу. Когда я писал книжку "Чет и нечет", я вспомнил подробный Мишин рассказ о Рамануджане, чей особый подход к математике его очень занимал. Миша сообщил мне еще много о нем и посоветовал, что почитать. Я воспользовался в своей книжке рассказом Харди о том, как Рамануджан толковал номер его такси. А в моей книжке Миша одобрил мысль о библиотеке как продолжении человека: он мне как-то привел эту мысль по поводу наших с ним книг. Мишу в то время раздражало начавшееся тяготение общества к религии. Похвалив как-то меня за сохранение ясности ума, Миша вдруг взглянул на меня с подозрением и спросил, не сдвинулся ли я в сторону веры. Хотя я никогда не примыкал ни к какой конфессии, мои взгляды на высшее гармоническое начало, вероятно, отличались от Мишиных. Я это почувствовал по его воспоминаниям о Михаиле Александровиче Леонтовиче: он ему представлялся полнейшим атеистом. А я помню разговор с П. Л. Капицей в последние его годы. Он говорил, как Леонтович заходил к ним домой после заседания редколлегии ЖЭТФ и говорил о наличии некоторого высшего начала, которое открывается и в науке. Леонтович в старости понимал религию на свой лад. Капица и сам к концу жизни был близок к такому настроению, может быть, пантеистическому. Но Миша в свои поздние и трудные годы, страдая недомоганием и на многое ожесточась, тоже по-своему стал ценить и самое главное: о друге, пережившем тяжелую утрату, он с пониманием рассказывал, как тот не спит ночами, думая о смысле жизни и смерти.

Из последних разговоров с Мишей, касавшихся философии физики, существенным было обсуждение посвященной этой теме рукописи Л. И. Мандельштама. Миша дал мне ее читать. Я слышал о ней раньше и знал, сколько Мандельштам значил для своих учеников. Но рукопись несколько разочаровывала: ему приходилось разбирать вопросы, навязанные физике, а не самое волнующее в науке века.

Я показывал Мише свое незаконченное эссе об антисемитизме, где я касался и некоторых посмертных публикаций Розанова. Миша сам развил эту тему в записях о Розанове, которые мне тогда передал.

Весной 1982 года Мишу при переходе улицы сбила машина и он попал к Склифосовскому. Я был у него там в палате. Ухудшение здоровья было заметно. Он сдавал и мрачнел. Потом я навещал его уже дома.

Когда к власти пришел Андропов, у Миши дома жил Миллер. Мы с ним обсуждали политические новости и сплетни о переменах. Миша прервал нас довольно резко, обратившись к Миллеру: "Надоело об этом. Не могу". Потом повернулся ко мне: "Может быть, ты можешь".

Последний наш разговор уже в новое время незадолго до Мишиной смерти состоялся в помещении Моссовета. Мы оба пришли на заседание угасавшей Московской трибуны. Оно было технически плохо организовано: мы ждали в одном месте, а нас ждали в другой части огромного здания. Так и не дождавшись, Миша потом ушел. Но до того было время поговорить, опять в сутолоке, как в доброе старое время. Миша рассказывал, как стал видеть после операции и насколько это непривычно. Говорил, что поэтому прельщает поездка в Ленинград. Но у меня сложилось впечатление, что Миша если не был готов к смерти, то знал о ней заранее.

Не мне, не нам судить, удались ли жизни наших близких. Мишин случай — особый. Внешне все неблагоприятно. Научная карьера негромкая. Замечательные эпиграммы при жизни известны немногим. Но без Миши нельзя представить всей жизни того круга, которому он принадлежал и для которого столько сделал. И дело даже не в отдельных чрезвычайно смелых поступках. Он задавал тон. На него равнялись. Будущее его оценит.